







# МАРСЕЛЬ ПРУСТ

В СТОРОНУ СВАНА



*Издательство АЛЬФА-КНИГА  
Москва, 2013*

УДК 82(1-87)  
ББК 84.(Фра.)  
П85

**Marcel Proust**  
**À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU**

Du côté de chez Swann

На переплете использованы  
фрагменты работ *О. Ренуара*

Перевод с французского  
*А. Франковского*

В тексте сохранена пунктуация  
и орфография переводчика

**Пруст М.**

П85 В сторону Свана/Пер. с фр. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2013. — 444 с.: ил. — (Собрание мировой классики).

ISBN 978-5-9922-1499-4

Марсель Пруст (1871—1922) — один из самых утонченных и загадочных классиков французской литературы, непревзойденный стилист и мастер незабываемых метафор, ярчайший представитель литературного модернизма.

В этом издании публикуется его самый известный роман «В сторону Свана» из знаменитой эпопеи «В поисках утраченного времени».

**УДК 82(1-87)**  
**ББК 84.(Фра.)**

ISBN 978-5-9922-1499-4

© Художественное оформление,  
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2013

## Часть первая

### КОМБРЕ

#### I

Давно уже я стал ложиться рано. Иногда, едва только свеча была потушена, глаза мои закрывались так быстро, что я не успевал сказать себе: «Я засыпаю». И полчаса спустя мысль, что пора уже заснуть, пробуждала меня: я хотел положить книгу, которую, казалось мне, я все еще держу в руках, и задуть огонь; я не переставал во время сна размышлять о только что мною прочитанном, но эти размышления принимали несколько своеобразный оборот; мне казалось, что я сам являюсь тем, о чем говорила книга: церковью, кварталом, соперничеством Франциска I и Карла V. Это представление сохранялось у меня в течение нескольких секунд по пробуждении; оно не оскорбляло моего рассудка, но покрывало, словно чешуя, мои глаза и мешало им отдать отчет в том, что свеча больше не горит. Затем оно начинало становиться мне непонятным, как, после метампсихозы, сознание прежнего существования; сюжет книги отрывался от меня, я был свободен приобщать себя к нему или нет; тотчас зрение возвращалось ко мне, и я бывал очень изумлен тем, что находил вокруг себя темноту, мягкую и успокоительную для моих глаз, но, может быть, еще больше для моего ума, которому она казалась чем-то беспричинным, непонятным, чем-то поистине темным. Я спрашивал себя, который может быть час; до меня доносились свистки поездов, более или менее отдаленные, и, отмечая расстояние, подобно пению птицы в лесу, они рисовали мне простор пустынного поля, по которому путешественник спешит к ближайшей станции; и глухая дорога, по которой он едет, запечатлется в его памяти благодаря возбуждению, которым он обязан незнакомым местам, непривычным действиям, недавнему разговору и прощанию под чуждым фонарем, все еще сопровождающим его в молчании ночи, и близкой радости возвращения.

Я нежно прижимался щеками к мягким щекам подушки, полным и свежим, словно щеки нашего детства. Я чиркал спичку, чтобы посмотреть на часы. Скоро полночь. Это пора, когда больной, который должен был отправиться в путешествие и которому пришлось слечь в незнакомой гостинице, разбуженный кризисом, радуется замеченной им под дверью полоске света. Какое счастье, уже утро! Через несколько мгновений встанут слуги, он может позвонить, к нему придут и подадут ему помощь. Надежда получить облегчение дает ему мужество переносить страдание. Как раз в эту минуту ему показалось, что он слышит шаги; шаги приближаются, затем удаляются. И полоска света, видневшаяся под дверью, исчезла. Это полночь; приходили гасить газ; последний слуга ушел, и придется всю ночь мучиться, не получая помощи.

Я снова засыпал, и иногда после этого у меня бывали лишь краткие пробуждения, во время которых я успевал только услышать потрескивание деревянных панелей, открыть глаза и запечатлеть калейдоскоп темноты, почувствовать, благодаря мгновенному проблеску сознания, сон, в который бывали погружены мебель, комната, все окружающее, которого я являлся лишь незначительной частью и с бесчувственностью которого я вскоре снова сливался. Или же, засыпая, я без усилия переносился в навсегда ушедшую эпоху моей ранней юности, снова переживал какой-нибудь из моих детских страхов, например, то, что мой двоюродный дедушка оттаскает меня за вихры, страх, исчезнувший в день, — дата для меня новой эры, — когда меня остригли. Я забывал об этом событии во время моего сна и снова вспоминал о нем вскоре после того, как мне удавалось проснуться, чтобы ускользнуть из рук двоюродного дедушки; все же из предосторожности я совсем зарывался головой в подушку перед тем, как возвратиться в мир сновидений.

Иногда, подобно Еве, родившейся из ребра Адама, во время моего сна рождалась женщина из неудобного положения, в котором я лежал. Ее создавало наслаждение, которое я готов был вкушать, а мне казалось, что это она мне доставляла его. Тело мое, чувствовавшее в ее теле мою собственную теплоту, хотело соединиться с ней, и я просыпался. Остальные люди казались мне чем-то очень далеким рядом с этой женщиной, покинутой мною всего несколько мгновений тому назад; щека моя еще пылала от ее поцелуя, тело было утомлено тяжестью ее тела. Если, как это случалось иногда, у нее бывали черты какой-нибудь женщины, с которой я был знаком наяву, я готов был всего себя отдать для до-

стижения единственной цели: вновь найти ее, подобно тем людям, что отправляются в путешествие, чтобы увидеть собственными глазами какой-нибудь желанный город, и воображают, будто можно насладиться в действительности прелестью грезы. Мало-помалу воспоминание о ней рассеивалось, я забывал деву моего сновидения.

Во время сна человек держит вокруг себя нить часов, порядок лет и миров. Он инстинктивно справляется с ними, просыпаясь, в одну секунду угадывает пункт земного шара, который он занимает, и время, протекшее до его пробуждения; но они могут перепутаться в нем, порядок их может быть нарушен. Пусть перед утром, после часов бессонницы, сон овладеет им во время чтения, в позе очень отличной от той, в которой он спит обыкновенно, тогда достаточно ему поднять руку, чтобы остановить солнце и повернуть его вспять, и в первую минуту по пробуждении он не узнает часа, ему будет казаться, что он сию минуту только прилег. Если же он заснет в еще более необычной и несвойственной ему позе, например, после обеда, сидя в кресле, тогда в мирах, вышедших из орбит, все перепутается, волшебное кресло со страшной скоростью помчит его через время и пространство, и в момент, когда он поднимет веки, ему покажется, что он лег несколько месяцев тому назад в другом месте. Но достаточно бывало, чтобы, в моей собственной постели, сон мой был глубоким и давал полный отдых моему уму; тогда этот последний терял план места, в котором я заснул, и когда я просыпался среди ночи, то, не соображая, где я, я не сознавал также в первое мгновение, кто я такой; у меня бывало только, в его первоначальной простоте, чувство существования, как оно может брезжить в глубине животного; я бывал более свободным от культурного достояния, чем пещерный человек; но тогда воспоминание — еще не воспоминание места, где я находился, но нескольких мест, где я жила и где мог бы находиться — приходило ко мне, как помощь свыше, чтобы извлечь меня из небытия, из которого я бы не мог выбраться собственными усилиями: в одну секунду я пробежал века культуры, и смутные представления керосиновых ламп, затем рубашек с отложными воротничками мало-помалу восстанавливали своеобразные черты моего «я».

Быть может, неподвижность предметов, окружающих нас, навязана им нашей уверенностью, что это именно они, а не какие-нибудь другие предметы, неподвижностью нашей мысли

по отношению к ним. Ибо всегда случалось, что когда я просыпался таким образом, деятельно, но безуспешно стараясь определить своим рассудком, где я, все вращалось вокруг меня во тьме: предметы, местности, годы. Тело мое, слишком онемевшее для того, чтобы двигаться, старалось, по форме своей усталости, определить положение своих членов, чтобы заключить на основании его о направлении стены, о месте предметов обстановки, чтобы воссоздать и назвать жилище, в котором оно находилось. Память его, память его боков, колен, плеч, последовательно рисовала ему несколько комнат, в которых оно спало, между тем как вокруг него, меняя место соответственно форме воображаемой комнаты, вращались в потемках невидимые стены. И прежде даже, чем мое сознание, которое стояло в нерешительности на пороге времен и форм, успевало отождествить помещение, сопоставляя обстоятельства, оно — мое тело — припоминало для каждого род кровати, место дверей, расположение окон, направление коридора, вместе с мыслями, которые были у меня, когда я засыпал, и которые я снова находил при пробуждении. Мой онемевший бок, пытаюсь угадать свое положение в пространстве, воображал себя, например, вытянувшимся у стены в большой кровати с балдахином, и тотчас я говорил себе: «Вот как, я не выдержал и уснул, хотя мама не пришла пожелать мне покойной ночи»; я был в деревне у дедушки, умершего много лет тому назад; и мое тело, бок, на котором я лежал, верные хранители прошлого, которое уму моему никогда не следовало бы забывать, приводили мне на память пламя ночника из богемского стекла в форме урны, подвешенного к потолку на цепочках, камин из сиенского мрамора в моей спальне в Комбре, у моих дедушки и бабушки, в далекие дни, которые в этот момент я воображал себе настоящими, не представляя их себе точно, и которые я увижу яснее сейчас, когда совсем проснусь.

Затем воскресало воспоминание нового положения; стена тянулась в другом направлении: я был в своей комнате у г-жи де Сен-Лу, в деревне: боже мой! уже по крайней мере десять часов, вероятно обед уже окончен! Я слишком затянул мой послеполуденный сон, которому предаюсь каждый вечер по возвращении с прогулки в обществе г-жи де Сен-Лу, перед тем как переодеться во фрак. Ибо много лет прошло после Комбре, где, в самые поздние наши возвращения, красные отблески заката видел я на стеклах моего окна. Другой род жизни ведут в Тансонвиле, у г-жи де Сен-Лу, другой род удовольствия получаю я,



выходя только ночью и бродя при лунном свете по тем дорогам, где я играл когда-то на солнце; и комната, в которой я усну вместо того, чтобы одеваться к обеду, видна мне издали, когда мы возвращаемся; освещенное лампой окно ее служит единственным маяком в ночи.

Эти клочки воспоминаний, кружащиеся и смутные, никогда не длились больше нескольких секунд; часто моя кратковременная неуверенность в месте, где я находился, отличала друг от друга различные предположения, из которых она состояла, не лучше, чем мы обособляем, видя бегущую лошадь, последовательные положения, которые нам показывает кинетоскоп. Но я мысленно видел то одну, то другую комнаты, в которых мне доводилось жить, и в заключение вспоминал их все в долгих мечтаниях, следовавших за моим пробуждением: зимние комнаты, где, улегшись в постель, зарываешь голову в гнездышко, которое устраиваешь себе из самых различных предметов: уголка подушки, ближайшей части одеял, конца шали, края кровати и номера вечерней газеты, и в заключение прочно скрепляешь все это вместе, согласно птичьим приемам, кое-как там примостившись; где, в морозную погоду, особенное удовольствие доставляет то, что чувствуешь себя отгороженным от внешнего мира (как морская ласточка, которая строит себе гнездо глубоко в земле, в земной теплоте), и где огонь поддерживается в камине всю ночь, так что спишь как бы окутанный широким плащом теплого и дымного воздуха, рассеяемого блеском вспыхивающих головешек, в каком-то неосязаемом алькове, теплой пещере, вырытой в пространстве самой комнаты, горячей и подвижной в своих термических очертаниях зоне, проветриваемой дувновениями, которые освежают нам лицо и исходят от углов, от частей, соседних с окном или удаленных от камина и потому охлажденных; — комнаты летние, где так приятно слиться с теплой ночью, где лунный свет, проникнув через полуоткрытые ставни, бросает свою волшебную лестницу до самого подножия кровати, где спишь почти на открытом воздухе, как синица, раскачиваемая ветерком на кончике солнечного луча; — иногда комната в стиле Людовика XVI, такая веселая, что даже в первый вечер я не был в ней слишком несчастен, и где колонки, легко поддерживавшие потолок, с такой грацией расступались, чтобы указать и приберечь место для кровати; — иногда же, напротив, маленькая и такая высокая, пробуравленная в форме пирамиды в пространстве двух этажей и частью обшитая красным деревом, где с самой первой секунды я бывал внутренне отравлен незна-

комым запахом ветиверии, убежденный во враждебности фиолетовых занавесок и наглом равнодушии стенных часов, которые стрекотали во весь голос, словно меня там не было; — где странное и безжалостное зеркало на четырехугольных ножках, наискось перегораживая один из углов комнаты, болезненно врезывалось в мягкую полноту привычного для меня зрительного поля пустым местом, которое являлось там неожиданно; — где мое сознание, часами силясь раздаться, растянуться в высоту, чтобы приобрести в точности форму комнаты и заполнить доверху ее гигантскую воронку, страдало в течение многих тяжелых ночей, между тем как я лежал в своей постели с открытыми глазами, с болезненно напряженным слухом, задыхаясь от тяжелого запаха, с бьющимся сердцем, пока, наконец, привычка не изменяла цвета занавесок, не заставляла замолчать часы, не научала жалости косое и жестокое зеркало, не заглушала, а то и вовсе прогоняла запах ветиверии и заметно не уменьшала кажущуюся высоту потолка. Привычка! Искусная целительница, врачующая, правда, медленно и сначала равнодушно глядящая на наши страдания по целым неделям в помещениях, где мы временно пребываем; но которую, несмотря на все, так радостно бывает приобрести, ибо без привычки, при помощи одних только усилий разума, мы не могли бы сделать пригодным для жизни ни одно помещение.

Конечно, теперь я уже совсем проснулся, тело мое описало последний круг, и добрый ангел уверенности остановил все кругом меня, уложил меня под мои одеяла, в моей комнате, и поставил приблизительно на свои места в темноте мой комод, мой письменный стол, мой камин, окно на улицу и две двери. Но напрасно, знал я теперь, что не нахожусь в жилищах, чей образ, представленный мне на мгновение неведением пробуждения, пусть не был отчетливым, все же заставил поверить в их возможное присутствие; памяти моей дан был толчок; обыкновенно я не пытался заснуть сразу же после этого; я проводил большую часть ночи в воспоминаниях о нашей прежней жизни, в Комбре у моей двоюродной бабушки, в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции и в других городах, припоминая места и людей, которых я знал там, то, что я сам видел из их жизни, и то, что мне рассказывали другие.

В Комбре, задолго до момента, когда мне нужно было лечь в постель и оставаться без сна, вдали от матери и бабушки, моя спальня каждый вечер становилась пунктом,

на котором сосредоточивались самые мучительные мои заботы. Так как вид у меня бывал очень уж несчастный, то кому-то из моих родных пришла в голову мысль развлекать меня волшебным фонарем, который, в ожидании обеденного часа, приспособляли к моей лампе: наподобие первых архитекторов и живописцев по стеклу готической эпохи, он заменял непрозрачные стены неосязаемыми радужными отражениями, сверхъестественными многокрасочными видениями, похожими на расписные церковные витражи, качавшиеся и появлявшиеся на миг. Но печаль моя лишь возрастала от этого, ибо простое изменение освещения разрушало привычку, приобретенную мною к моей комнате, благодаря которой, если не считать мучительных часов отхода ко сну, она стала для меня выносимой. Теперь я больше ее не узнавал и чувствовал себя в ней беспокойно, как в номере гостиницы или «шале», куда я приехал бы в первый раз, прямо с поезда.

Припрыгивающим шагом своей лошади Голо, исполненный злодейских замыслов, выезжал из маленького треугольного леса, бархатившего темной зеленью склон холма, и приближался, сотрясаясь, к замку бедной Женевьевы Брабантской. Этот замок был рассечен по кривой линии, являвшейся не чем иным, как границей одного из стеклянных овалов, вставленных в рамку, которую задвигали в щель фонаря. Это был только кусок замка, и пред ним расстилался луг, на котором с задумчивым видом стояла Женевьева, одетая в платье с голубым поясом. Замок и луг были желтые, и я знал заранее их цвет, потому что, еще до появления картины на стене, отливающие старым золотом звуки слова *Брабант* с очевидностью показывали мне его. Голо на мгновение останавливался, чтобы с грустным видом выслушать объяснение, которое громко прочитывала моя двоюродная бабушка и которое он, казалось, понимал в совершенстве, послушно согласуя с указаниями текста свою позу, не лишенную некоторой величественности; затем он удалялся тем же припрыгивающим шагом. И ничто не в силах было остановить его медленное движение верхом на лошади. Если фонарь шевелили, я видел, как лошадь Голо продолжает двигаться по оконным занавескам, выпячиваясь на их складках и прячась в углублениях. Тело самого Голо, из вещества столь же сверхъестественного, как и вещество его лошади, приспособлялось к каждому препятствию, к каждому встречавшемуся на его пути предмету, делая из него свой остов и наполняя своим содержанием, будь то даже

ручка двери, к которой тотчас прилаживались и на которую неодолимо наплывали его красное платье или его бледное лицо, все такое же благородное и такое же меланхоличное и по-видимому нисколько не смущаемое подобными перевоплощениями.

Правда, я находил очаровательными эти световые образы, излучавшиеся, казалось, из мерovingского прошлого и окружавшие меня отблесками такой седой старины. Но мне причиняло какое-то невыразимое беспокойство это вторжение тайны и красоты в комнату, которую я с течением времени наполнил своим «я» до такой степени, что обращал на нее так же мало внимания, как на самого себя. Когда прекращалось анестезирующее влияние привычки, я начинал размышлять, начинал испытывать невеселые чувства. Эта дверная ручка моей комнаты, отличавшаяся для меня от всех других дверных ручек мира тем, что, казалось, открывала сама, и мне не приходилось поворачивать ее, до такой степени манипуляции с нею сделались для меня бессознательными, — вот она служила теперь астральным телом Голо. И как только раздавался звонок к обеду, я торопливо бежал в столовую, где большая висючая лампа, ничего не ведавшая о Голо и Синей Бороде, но знавшая моих родных и тушеное мясо, давала свой свет каждый вечер; я спешил упасть в объятия мамы, которую несчастья Женевьевы Брабантской делали мне еще более дорогой, тогда как преступления Голо побуждали тщательнее исследовать мою собственную совесть.

После обеда, увы, я должен был сейчас же покинуть маму, которая оставалась разговаривать с другими, в саду, если бывала хорошая погода, или в маленькой гостиной, куда все удалялись, если небо хмурилось. Все, кроме моей бабушки, которая находила, что «сидеть в деревне в комнатах — преступление», и постоянно вступала в спор с моим отцом в дни, когда шел сильный дождь, так как отец запрещал мне оставаться на дворе и отсылал в мою комнату почитать. «Таким способом вы не сделаете его крепким и энергичным», говорила она печально, «особенно этого малыша, которому так необходимо закалить свои силы и волю». Отец пожимал плечами и бросал взгляд на барометр, так как интересовался метеорологией, мать же, избегая поднимать шум, чтобы не сердить его, смотрела на него с нежной почтительностью, но не слишком пристально, чтобы не казалось, будто она хочет проникнуть в тайну его превосходства. Но что касается бабушки, то во всякую погоду, даже когда дождь лил как из ведра и Франсуаза поспешно вносила в комнаты драгоценные

ивовые кресла из страха, как бы они не намокли, ее можно было видеть в пустом саду, под проливным дождем, откидывающей назад растрепанные пряди седых волос, чтобы лучше напитать лоб целительной силой ветра и дождя. Она говорила: «Наконец-то можно дышать!» и обегала намокшие дорожки, — проведенные слишком симметрично, по собственному вкусу, лишенным чувства природы новым садовником, которого отец мой спрашивал с утра, установится ли погода, — своими мелкими шажками, восторженными и неровными, которые размерялись скорее разнообразными чувствами, возбуждавшимися в душе ее опьянением грозою, могуществом гигиены, уродливостью моего воспитания и симметрией сада, нежели неведомым ей желанием предохранить свою юбку цвета сливы от брызг грязи, испещривших ее до такой степени, что горничная при виде ее всегда бывала озадачена и приходила в отчаяние.

Если эти рейсы бабушки по саду происходили после обеда, то одна вещь способна была заставить ее вернуться, именно: голос моей двоюродной бабушки, кричавшей ей: «Батильда! Иди скорее, запрети твоему мужу пить коньяк!» в один из моментов, когда круговое движение ее прогулки периодически приводило ее, словно насекомое, к освещенным окнам маленькой гостиной, где были сервированы на ломберном столе ликеры. Действительно, чтобы подразнить ее (она вносила в семью моего отца дух настолько своеобразный, что все подшучивали над ней и дразнили ее), моя двоюродная бабушка побуждала дедушку, которому спиртные напитки были запрещены, выпить несколько капель коньяку. Бедная бабушка входила и горячо упрашивала своего мужа не пробовать коньяку: он сердился, выпивал, несмотря на уговоры, свой глоток, и бабушка уходила, печальная, обескураженная, но с улыбкой на лице, ибо она была настолько смиренна сердцем и добра, что ее нежность к другим и пренебрежение к себе самой и своим страданиям выливались в ее взгляде в улыбку, которая, в противоположность тому, что видишь на лице большинства людей, содержала иронию лишь по отношению к себе самой, для нас же всех глаза ее посылали словно поцелуй: она не могла смотреть на тех, кого очень любила, не лаская их нежно взглядом. Эта попытка, которой подвергала ее моя двоюродная бабушка, это зрелище тщетных уговоров и слабости бабушки, наперед побежденной и напрасно пытающейся отнять у дедушки рюмку с коньяком, принадлежали к числу явлений, к которым впоследствии привыкаешь до такой степени, что смотришь на них со

смехом и сам довольно решительно и весело становишься на сторону преследователя, убеждая себя, что тут нет речи о настоящем преследовании; однако в те времена все это наполняло меня таким отвращением, что я бы с удовольствием отколотил мою двоюродную бабушку. Но как только я слышал: «Батильда! Иди скорее, запрети твоему мужу пить коньяк!» меня охватывало малодушие, и я делал то, что все мы делаем, ставши взрослыми, когда перед нами открывается зрелище страданий и несправедливости: я предпочитал не видеть его; я поднимался поплакать на самый верх дома, под самую крышу, в комнатку, расположенную рядом с классной и наполненную запахом ириса, а также дикой черной смородины, выросшей среди каменной наружной стены и просунувшей ветку с цветами в полуоткрытое окно. Имевшая назначение более специальное и более прозаическое, комната эта, откуда днем открывался вид до замковой башни Руссенвиль-ле-Пен, долгое время служила мне убежищем, — несомненно потому, что она была единственной, которую мне было позволено запирать на ключ, — для тех моих занятий, которые требовали ненарушимого одиночества: чтения, мечтаний, слез и наслаждения. Увы, я не знал, что гораздо больше, чем маленькие нарушения режима мужем, бабушку мою озабочивали мое слабование, мое слабое здоровье и обусловленная ими неверность моего будущего, о котором она размышляла во время этих бесконечных послеполуденных или вечерних прогулок, когда можно было видеть, как то появляется, то исчезает склоненное набок и несколько откинутае назад прекрасное ее лицо с коричневыми изборожденными морщинами щеками, ставшими с наступлением старости почти лиловыми, словно пашня осенью, прикрытыми, когда она выходила на улицу, наполовину приподнятой вуалью, причем на них, вызванная холодом или печальной мыслью, всегда высыхала невольная слеза.

Моим единственным утешением, когда я поднимался наверх ложиться спать, было ожидание мамы, приходившей поцеловать меня в постели. Но это пожелание спокойной ночи длилось так недолго, она так скоро спускалась обратно, что момент, когда я слышал, как она поднимается по лестнице, затем как по коридору, за двойной дверью, раздается легкий шелест ее летнего домашнего платья из голубого муслина, украшенного шнурочками плетеной соломы, был для меня моментом мучительным. Он возвещал мне о моменте, который наступит вслед за ним, когда она покинет меня, когда она будет спуска-

ться обратно. В результате я стал желать, чтобы это прощание, которое я так любил, произошло как можно позже, и время, пока мама еще не пришла, затянулось. Иногда, в то мгновение, когда, поцеловав меня, она открывала дверь, чтобы уйти, мне хотелось снова позвать ее, сказать ей: «поцелуй меня еще раз», но я знал, что после этого лицо ее станет сердитым, ибо уступка, которую она делала моей печали и моему возбуждению, поднимаясь поцеловать меня, принося мне этот поцелуй мира, раздражала моего отца, находившего этот ритуал нелепым, и она хотела как-нибудь отучить меня от этой потребности, от этой привычки, и вовсе не была склонна поощрять во мне другую дурную привычку: просить ее, когда она ступала уже на порог, еще раз поцеловать меня. А ее рассерженное лицо разрушало весь покой, который за мгновение перед этим она приносила мне, когда наклоняла к моей постели свое любящее лицо и подавала мне его, как гостию, для причастия мира, в котором мои губы вкушали реальность ее присутствия, дававшего мне силу уснуть. Но эти вечера, когда мама оставалась в моей комнате в общем так мало времени, были еще сладкими по сравнению с вечерами, когда к обеду ожидали гостей и когда, по этой причине, она не поднималась прощаться со мной. Гостем бывал обыкновенно г. Сван, который, помимо нескольких случайных посетителей, был почти единственным лицом, приходившим к нам в Комбре, иногда к обеду по-соседски (что бывало сравнительно редко после этой странной его женитьбы, так как мои родители не хотели принимать его жену), иногда после обеда, без приглашения. Когда вечером, в то время как мы сидели перед домом под большим каштаном вокруг железного стола, к нам доносился с конца сада негромкий и залихватый звон бубенчика, окроплявший и оглушавший своим металлическим, неиссякаемым и ледяным дребезжанием всех домашних, входивших и отворявших калитку «не позвонившись», но двукратное робкое, овальное и золотистое, звяканье колокольчика для чужих, то все вдруг спрашивали себя: «Гости! Кто б это мог быть?» хотя все отлично знали, что это мог быть только г. Сван; моя двоюродная бабушка, во весь голос, чтобы подать нам пример, тоном, который она силилась сделать естественным, говорила нам, чтобы мы перестали шушукаться, так как это крайне невежливо по отношению к посетителю, могущему подумать, что мы говорим сейчас вещи, которые он не должен слышать; на разведку посылалась бабушка, радовавшаяся всякому предлогу пройти лишний раз по саду и пользовавшаяся

им для того, чтобы украдкой вырвать по пути из-под розовых кустов несколько подпорок и придать им таким образом немножко естественности, словно мать, проводящая рукой по голове сына, чтобы взбить ему волосы, которые парикмахер слишком пригладил.

Мы все сидели в ожидании известий о неприятеле, которые должна была доставить нам бабушка, словно был открыт выбор из большого числа возможных врагов, и вскоре дедушка говорил: «Узнаю голос Свана». В самом деле, его узнавали только по голосу; лицо его, с горбатым носом, зелеными глазами, высоким лбом и светлыми, почти рыжими волосами, причесанными в пробор *à la Bressant*, было трудно разглядеть, так как мы зажигали по возможности меньше света в саду, чтобы не привлекать moskitov, и я, как ни в чем не бывало, шел сказать, чтобы подавали сиропы; бабушка придавала большое значение тому, чтобы не казалось, будто они красуются на столе в виде исключения, только по случаю прихода гостей; она находила, что так будет любезнее. Г. Сван, несмотря на большую разницу лет, был очень близок с моим дедушкой, являвшимся одним из лучших друзей его отца, человека превосходного, но странного, которому, казалось, достаточно было иногда самого ничтожного пустяка, чтобы охладить его сердечный порыв или изменить течение мысли. Несколько раз в год мне доводилось слышать, как дедушка рассказывал за столом все одни и те же анекдоты относительно поведения г-на Свана-отца в момент смерти жены, от постели которой он не отходил ни днем, ни ночью. Дедушка, который перед этим долго не виделся с ним, поспешил к нему в усадьбу Сванов, расположенную в окрестностях Комбре, и ему удалось выманить своего друга, заливавшегося слезами, из комнаты, где лежала покойница, на то время, когда ее клали в гроб. Они сделали несколько шагов по парку; светило солнце. Вдруг г. Сван, схватив дедушку под руку, вскричал: «Ах, мой старый друг, какое счастье прогуляться вместе в такую прекрасную погоду! Разве вы не находите красивыми все эти деревья, этот боярышник и новый пруд, с устройством которого вы никогда меня не поздравляли? Экий вы ночной колпак! Чувствуете вы этот ветерок? Ах, что там ни говори, в жизни все же много хорошего, дорогой мой Амедей!» Тут старик внезапно вспомнил о только что скончавшейся жене и, находя, вероятно, очень сложным доискиваться, как он мог в подобную минуту дать увлечь себя радостному порыву, удовольствовался тем, что жестом, который он обыкновенно



делал каждый раз, когда перед умом его вставал трудный вопрос, провел рукою по лбу и стал протирать глаза и стекла своих очков. Он не мог утешиться в смерти своей жены, но в течение двух лет, на которые он пережил ее, постоянно говорил дедушке: «Как это странно: я очень часто думаю о моей бедной жене, но не могу много думать о ней сразу». «Часто, но каждый раз понемногу, как бедный папаша Сван», стало одной из излюбленных фраз дедушки, произносившего ее по самым различным поводам. Мне могло бы показаться, что отец Свана был чудовищем, если бы дедушка, которого я считал безупречным судьей и приговор которого, являясь для меня законом, часто служил мне впоследствии основанием прощать проступки, подлежащие с моей точки зрения осуждению, не воскликнул: «Да что ты! У него было золотое сердце!»

В течение многих лет, — хотя г. Сван-сын часто навещал в Комбре мою двоюродную бабушку и родителей моей матери, особенно перед своей женитьбой, — мои родные не подозревали, что он вовсе перестал бывать в обществе лиц, с которыми поддерживала близкие отношения его семья, и что под видом инкогнито, каковым служила для нас фамилия Сван, они принимали у себя, — с простодушием честных содержателей гостиницы, дающих приют у себя, не подозревая об этом, знаменитому разбойнику, — одного из самых элегантных членов Жокей-Клуба, ближайшего друга графа Парижского и принца Уэльского, одного из самых обласканных завсегдатаев великосветских салонов Сен-Жерменского предместья.

Неведение, в котором мы пребывали насчет этой блестящей светской жизни Свана, конечно отчасти было обусловлено его сдержанностью и скрытым характером, но в значительной степени оно объяснялось также и тем, что тогдашние буржуа имели несколько индийское представление об обществе и считали его состоящим из замкнутых каст, где каждый, с самого рождения, находил себя в положении, которое занимали его родители и откуда ничто, за исключением редких случаев блестящей карьеры или неожиданного брака, не способно было вытащить человека и открыть ему доступ в высшую касту. Г-н Сван-отец был биржевым маклером; «Сван-сын» на всю жизнь обречен был составлять часть касты, в которой состояния, как в категориях лиц, подлежащих обложению, варьируются между таким-то и таким-то доходом. Известен был круг знакомых его лиц, известен был, следовательно, круг его собственных знакомств, круг лиц, с которыми «ему полагалось» водить зна-

комство. Если у него бывали и другие знакомства, то они принадлежали к числу тех знакомств молодого человека, на которые старые друзья его семьи, каковыми были мои родители, закрывали глаза тем более благожелательно, что он продолжал, с тех пор как стал сиротой, неизменно нас посещать; но можно было смело держать пари, что эти незнакомые нам люди, с которыми он виделся, принадлежали к числу лиц, которым он не посмел бы поклониться, если бы, находясь в нашем обществе, повстречался с ними. Если бы уж нужно было, во что бы то ни стало, характеризовать Свана каким-нибудь социальным коэффициентом, присущим ему лично, в отличие от других сыновей биржевых маклеров того же ранга, что и его родители, то этот коэффициент оказался бы для него несколько меньшим, потому что, будучи очень простым по внешности и всегда питая «слабость» к старинным предметам и картинам, он жил теперь в старом особняке, куда свез свои коллекции; моя бабушка все мечтала посетить этот особняк, но он был расположен на Орлеанской набережной, в квартале, который, по мнению моей двоюродной бабушки, было неприлично выбирать себе для жительства. «Действительно ли вы знаток? Я задаю вам этот вопрос в ваших интересах, потому что торговцы наверно водят вас за нос и сбывают вам всякую мазню», говорила ему моя двоюродная бабушка; она действительно считала его совсем некомпетентным и была невысокого мнения также и об умственном уровне человека, который в разговоре избегал серьезных тем и выказывал большую осведомленность в самых прозаических вещах не только в тех случаях, когда входил в мельчайшие подробности даваемых им нам кулинарных рецептов, но даже когда сестры моей бабушки заговаривали с ним на художественные темы. Когда они просили его высказать свое мнение, выразить свое восхищение какой-нибудь картиной, он хранил почти неприличное молчание и отыгрывался на том, что мог сообщить точные данные о музее, где эта картина находится, и о времени, когда она была написана. Но обыкновенно, желая развлечь нас, он ограничивался тем, что рассказывал каждый раз какую-нибудь новую историю, только что приключившуюся у него с людьми, wybranными из наших знакомых: с аптекарем в Комбре, с нашей кухаркой, с нашим кучером. Конечно, анекдоты эти смешили мою двоюродную бабушку, но она не могла разобрать хорошенько, чем это объяснялось: смешной ли ролью, которую Сван неизменно принимал на себя в них, или остроумием, с каким он их рассказывал: «Ну и

тип же вы, можно сказать, господин Сван!» Так как она была единственным членом нашей семьи, отличавшимся некоторой вульгарностью, то старалась показать чужим, когда заходил разговор о Сване, что он мог бы, если бы захотел, жить на бульваре Осман или на авеню де л'Опера, что он был сыном г-на Свана, оставившего ему вероятно четыре или пять миллионов, и что, если он живет на Орлеанской набережной, то это просто его причуда. Причуда, которую она, впрочем, считала до такой степени забавной в глазах посторонних, что когда г. Сван приносил ей в Париже в новый год традиционную коробку засахаренных каштанов, то она непременно говорила ему, если у нее были в то время гости: «Что же, господин Сван, вы по-прежнему живете подле винных складов, чтобы не опоздать на поезд, когда соберетесь ехать по Лионской железной дороге?» И она искоса посматривала поверх очков, какое впечатление произвели ее слова на других посетителей.

Но если бы моей двоюродной бабушке сказали, что этот Сван, который, в качестве Свана-сына, был вполне «квалифицирован» для того, чтобы быть принятым в любом «хорошем буржуазном доме», у самых почтенных парижских нотариусов или адвокатов (привилегия, которою он, по-видимому, несколько пренебрегал), вел, как бы тайком, жизнь совсем иного рода; что, выйдя от нас в Париже с заявлением, что он отправляется домой спать, он менял дорогу, едва только скрывшись за углом, и шел в такую гостиную, которую никогда не видели глаза ни одного маклера или биржевого дельца, — то это показалось бы моей двоюродной бабушке столь же неправдоподобным, как могла бы показаться какой-нибудь более начитанной даме мысль быть лично знакомой с Аристеем, относительно которого она знала бы, что после бесед с нею он погружается в лоно царства Фетиды, царства, недоступного взорам смертных, где, по рассказу Вергилия, его принимают с распростертыми объятиями; или, — если взять для сравнения образ, имевший больше шансов прийти ей на ум, ибо она видела его нарисованным на наших десертных тарелочках в Комбре, — как мысль обедать за одним столом с Али-Бабой, который, удостоверившись, что он один, проникнет в пещеру, сверкающую сказочными сокровищами.

Однажды, придя к нам в Париже в гости откуда-то с обеда, Сван извинился, что был во фраке; когда Франсуаза сообщила, после его ухода, со слов его кучера, что он обедал «у одной принцессы», — «Да, у принцессы полусвета!» с веселой иро-

нией ответила моя двоюродная бабушка, пожимая плечами и не поднимая глаз со своего рукоделия.

Словом, моя двоюродная бабушка обращалась с ним высокомерно. Так как она полагала, что Сван должен быть польщен нашими приглашениями, то находила вполне естественным, что летом он никогда не приходил к нам в гости без корзинки персиков или малины из своего сада и после каждого своего путешествия в Италию привозил мне фотографии шедевров искусства.

У нас в доме нисколько не стеснялись посылать за ним, когда нужно было узнать рецепт какого-нибудь изысканного соуса или ананасного салата для больших обедов, на которые его не приглашали, так как не находили в нем достаточного веса, чтобы им можно было блеснуть перед чужими людьми, приходившими в дом впервые. Если разговор касался принцев Французского королевского дома: «людей, с которыми мы никогда не будем водить знакомства, ни вы, ни я, и мы обойдемся без этого, не правда ли», говорила моя двоюродная бабушка Свану, у которого лежало, может быть, в кармане письмо из Твикенгема; она заставляла его аккомпанировать и переворачивать страницы нотной тетради, когда сестра моей бабушки пела, пользуясь для мелких услуг этим человеком, в других местах столь ценным, — наивное варварство ребенка, играющего музейной вещью с такой беспечностью, словно дешевой рыночной безделушкой. Несомненно, тот Сван, которого знали в то время столько клубменов, был очень отличен от Свана, создаваемого воображением моей двоюродной бабушки, когда вечером, в маленьком садике в Комбре, после того как замолкали два негромких звяканья колокольчика, она напITYвала и оживляла всем, что ей было известно о семье Сванов, темную и неясную фигуру, которая обрисовывалась вслед за бабушкой, на фоне мрака, и которую мы узнавали по голосу. Но ведь даже в отношении самых незначительных мелочей повседневной жизни мы не являемся материальной вещью, тождественной для всех, с которой каждый может познакомиться, как с подрядными условиями или с завещанием; наша социальная личность создается мышлением других людей. Даже такой простой акт, как «видеть человека, с которым мы знакомы», является в значительной части актом интеллектуальным. Мы наполняем физическую внешность существа, которое мы видим, всеми ранее составившимися у нас понятиями о нем, и в целостной картине его, мысленно рисуемой нами, эти понятия несомненно игра-

ют преобладающую роль. В заключение они с таким совершенством надувают щеки, так точно следуют за линией носа, так хорошо примешиваются к нюансам звучности голоса, — как если бы наш знакомый был только прозрачной оболочкой, — что каждый раз, как мы видим его лицо и слышим его голос, эти наши понятия суть то, что мы вновь находим, то, что мы слышим. Вероятно в того Свана, которого создали себе мои родные, они не вкладывали, по неведению, множества особенностей, касающихся его светской жизни, в то время как другие лица, знавшие его с этой стороны, находясь в его присутствии, видели в лице его воплощение изящества, завершенного линией его носа с горбинкой, как своей естественной границей; но мои родные могли зато наполнять это лишенное своего обаяния, порожнее и просторное лицо, глубину этих обесцененных глаз, бесформенным и сладким осадком, — смутное воспоминание, полузабвение, — праздных послеобеденных часов, проведенных вместе за ломберным столом или в саду, во время нашей добрососедской деревенской жизни. Телесная оболочка нашего друга была так плотно напитана всем этим, а также кое-какими воспоминаниями, касавшимися его родителей, что их Сван стал законченным и живым существом, и у меня такое впечатление, будто я покидаю одного человека и обращаюсь к другому, отличному от него, когда в своих воспоминаниях я перехожу от того Свана, с которым впоследствии познакомился очень близко, к этому первому Свану, — к этому первому Свану, в котором я вновь нахожу очаровательные заблуждения моей юности и который, к тому же, похож не столько на другого Свана, сколько на лиц, с которыми я был знаком в то далекое время, как если бы с нашей жизнью дело обстояло так, как с музеем, где все портреты одной и той же эпохи имеют какое-то фамильное сходство, одну и ту же тональность, — к этому первому Свану, исполненному праздности и пахнувшему большим каштановым деревом, малиной в корзинках и чуточку эстрагоном.

Впрочем, однажды бабушка, обратившись с какой-то просьбой к даме, с которой она познакомилась в Сакре-Кер (и с которой, благодаря нашему представлению о кастах, она не захотела поддерживать отношений несмотря на взаимную симпатию), — маркизе де Вильпаризи, из знаменитого рода Буйон, — услышала от нее следующие слова: «Мне кажется, вы хорошо знакомы с господином Сваном, большим другом моих племянников де Лом». Бабушка вернулась с визита в восторге

от дома, выходявшего окнами в сад, в котором г-жа де Вильпаризи советовала ей нанять квартиру, а также от штопальщика и его дочери, державших на дворе лавочку, куда она зашла зашить юбку, которую разорвала на лестнице. Бабушка нашла этих людей совершенством, она заявила, что малютка очаровательна, а штопальщик изысканнейший из людей, каких она когда-либо встречала. Ибо для нее изысканность была вещью совершенно независимой от социального положения. Она была в восторге от одного ответа, данного ей штопальщиком, и говорила маме: «Севинье не сказала бы лучше!» Но зато о племяннике г-жи де Вильпаризи, которого она встретила у нее, она отзывалась: «Ах, дочка, как он вульгарен!»

Однако это замечание, касавшееся Свана, имело следствием не возвышение его в глазах моей двоюродной бабушки, но принижение г-жи де Вильпаризи. Казалось, что уважение, с которым мы, полагаясь на бабушку, относились к г-же де Вильпаризи, возлагало на нее обязанность не совершать ничего такого, что роняло бы ее достоинство в наших глазах, обязанность, которой она не выполняла, зная о существовании Свана и позволяя своим родственникам водить с ним знакомство. «Каким образом она знает Свана? Это особа-то, которую ты выдаешь за родственницу маршала де Мак-Магона!» Это представление моих родных о знакомствах Свана еще более укрепилось у них впоследствии, благодаря его женитьбе на женщине самого сомнительного общественного положения, почти кокетке, которую, впрочем, он никогда не пытался представить нам, продолжая приходить один, правда, все реже и реже; моим родным казалось, что по этой женщине они могут судить — предположивши, что именно оттуда он взял ее — о незнакомой для них среде, в которой он обыкновенно бывал.

Но однажды дедушка прочел в газете, что г. Сван был одним из самых верных завсегдатаев на воскресных завтраках герцога де Х..., отец и дядя которого были чрезвычайно видными государственными людьми в царствование Луи-Филиппа. Между тем дедушка был любопытен по части разных мелких фактов, могущих помочь ему мысленно проникнуть в частную жизнь таких людей, как Моле, как герцог Пакье, как герцог де Брой. Он пришел в восторг, когда узнал, что Сван бывает у людей, которые были знакомы с ними. Моя двоюродная бабушка, напротив, истолковала эту заметку в неблагоприятном для Свана смысле: субъект, выбирающий свои знакомства вне касты, к которой он принадлежит по рождению, вне своего обществен-

ного «класса», был в ее глазах каким-то презренным деклассированным существом. Ей казалось, что таким образом человек разом отказывался от плода всех дружественных связей с солидными людьми, связей, которые с таким почетом поддерживали и заводили для своих детей предусмотрительные семьи (двоюродная бабушка перестала даже бывать у сына одного нашего друга-нотариуса на том основании, что тот женился на принцессе и спустился таким образом в ее глазах из почтенного положения сына нотариуса до положения авантюриста, чего-то вроде лакея или конюха, которых, говорят, королевы дарили иногда своей благосклонностью). Она подвергла осуждению план дедушки расспросить Свана в ближайший вечер, когда он должен был прийти к нам обедать, об этих открытых нами его друзьях. С другой стороны, обе сестры моей бабушки, старые девы, отличавшиеся благородством, но не блиставшие умом, заявили, что не понимают, какое удовольствие может находить их зять в разговоре на такие вздорные темы. Это были особы возвышенного образа мыслей, которые по этой причине неспособны были интересоваться тем, что называется сплетнями, хотя бы даже они имели интерес исторический, т. е., говоря вообще, неспособны были интересоваться ничем, что не имело прямого отношения к темам эстетическим или моральным. Отсутствие интереса ко всему, имевшему хотя бы подобие близкого или отдаленного отношения к светской жизни, было у них таково, что их слух, — как бы понимая свою бесполезность на то время, когда разговор за столом принимал суетный или даже просто прозаический характер и эти две старые девы не в состоянии были направить его на дорогие для них темы, — оставлял тогда свои воспринимающие органы в состоянии бездействия, так что они подвергались настоящей атрофии. Если в таких случаях дедушке нужно было привлечь внимание двух сестер, то ему приходилось прибегать к физическим способам воздействия, применяемым врачами-психиатрами по отношению к некоторым маниакально-рассеянными пациентам: продолжительному постукиванию ножом по стакану или рюмке, сопровождаемому резким окриком и повелительным взглядом, способам жестоким, которыми эти психиатры часто пользуются и при общении с вполне здоровыми людьми, вследствие ли профессиональной привычки, или же потому, что всех людей они считают немного сумасшедшими.

Они проявили бóльший интерес, когда, накануне дня, в который Сван должен был прийти к нам обедать и прислал им

лично ящик вина Асти, моя двоюродная бабушка, держа номер **Ф и г а р о**, где рядом с названием картины, которая была на выставке Коро, стояли слова: «из собрания г-на Шарля Свана», сказала нам: «Вы слышали: Сван удостоился «внимания» **Ф и г а р о**?» — «Но ведь я всегда говорила вам, что у него много вкуса», заметила бабушка. «Ну, разумеется, ты всегда другого мнения, чем *мы*», ответила двоюродная бабушка, которая, зная, что бабушка никогда не бывала одного мнения с нею, и не будучи очень уверена, что всегда встретит у нас поддержку, хотела вырвать у нас огульное осуждение мнений бабушки, против которых пыталась насильно солидаризировать нас с собою. Но мы остались безмолвными. Сестры бабушки выразили намерение поговорить со Сваном по поводу этой заметки **Ф и г а р о**, но двоюродная бабушка отсоветовала им это. Каждый раз, как она замечала в других людях хотя бы самое незначительное превосходство над собой, она убеждала себя, что это не положительное качество, а недостаток, и жалела их, чтобы не пришлось им завидовать. «Мне кажется, что вы не доставите ему удовольствия; по крайней мере, что касается меня, то я отлично знаю, что мне было бы очень неприятно видеть мою фамилию полностью напечатанной в газете, и я совсем не была бы польщена, если бы мне сказали об этом». Впрочем, она не особенно усердно убеждала сестер бабушки; ибо из отвращения к вульгарности они доводили до такой тонкости искусство маскировать личный намек под замысловатыми иносказаниями, что часто он проходил незамеченным даже тем, к кому был обращен. Что же касается моей матери, то она думала лишь о том, как бы ей добиться от моего отца согласия поговорить со Сваном не о жене его, но о дочери, которую Сван обожал и ради которой, как говорили, в конце концов решил на эту женитьбу. «Тебе стоит сказать ему одно только слово, спросить его, как она поживает. Ведь это очень жестоко по отношению к нему». Но отец сердился: «Ну, нет! У тебя нелепые мысли. Это было бы смешно».

Единственным из всех нас, для кого приход Свана стал предметом мучительной тревоги, был я. Дело в том, что в те вечера, когда у нас бывали чужие, или только г. Сван, мама не поднималась вверх в мою комнату. Я не обедал за общим столом, после обеда шел в сад, затем в девять часов желал всем покойной ночи и отправлялся спать. Я обедал раньше других и приходил потом посидеть за столом до восьми часов, когда мне было приказано подниматься к себе; драгоценный и хрупкий



поцелуй, который мама дарила мне обыкновенно в моей постели в момент, когда я засыпал, мне приходилось в таких случаях переносить из столовой в мою комнату и хранить его все время, пока я раздевался, так чтобы не растаяла его сладость, так чтобы не рассеялась и не испарилась его летучая сущность; и как раз в те вечера, когда я испытывал потребность в особенно бережном его получении, приходилось брать его, наспех его похищать публично, не имея даже времени и свободы духа, необходимых для того, чтобы внести в свои действия внимательность маньяков, которые стараются не думать ни о чем постороннем в то время, как закрывают дверь, чтобы можно было, когда болезненные сомнения вновь возвратятся к ним, победоносно противопоставить им воспоминание о моменте, когда дверь была ими закрыта. Мы все были в саду, когда раздались два робких звяканья колокольчика. Мы знали, что это был Сван; тем не менее все переглянулись с вопросительным видом и послали на разведки бабушку. «Подумайте, как бы поделкатнее поблагодарить его за вино, вы ведь знаете, оно превосходно, и ящик огромный», посоветовал дедушка свояченицам. — «Не вздумайте шушукаться», сказала двоюродная бабушка. «Как это приятно приходить в дом, где все говорят тихо». — «Ах, это господин Сван. Мы сейчас его спросим, будет ли, по его мнению, завтра хорошая погода», проговорил отец. Матушка думала, что одно ее слово загладит все несправедливости, которые были причинены Свану в нашей семье после его женитьбы. Она нашла способ отвести его на некоторое время в сторону. Но я последовал за ней; я не мог решиться покинуть ее ни на шаг, будучи полон мыслью, что сейчас мне придется покинуть ее в столовой и что я поднимусь в мою комнату без утешительной надежды на прощальный ее поцелуй в постели. «Расскажите мне, пожалуйста, господин Сван, о вашей дочери», сказала она ему; «я уверена, что она уже приобрела вкус к красивым вещам, как и ее папа». Но тут подошел дедушка со словами: «Да идите же посидеть вместе с нами на веранде». Матушке пришлось прервать разговор, но этот вынужденный перерыв был для нее только лишним поводом утвердиться в своих благожелательных намерениях, подобно тому как тирания рифмы является для хороших поэтов поводом нахождения наивысших красот: «Мы еще поговорим о ней, когда останемся наедине», вполголоса сказала она Свану. «Только мать способна понять вас. Я уверена, что и ее мать разделяет мое мнение». Мы все уселись вокруг железного стола. Мне хотелось не ду-

мать о тоскливых часах, которые я проведу в одиночестве сегодня вечером в своей комнате, неспособный уснуть; я старался убедить себя; что они не имеют никакого значения, потому что завтра же утром я позабуду о них, старался сосредоточиться на мыслях о будущем, которые, словно по мосту, должны перевести меня на другую сторону страшной пропасти, разверзавшейся у моих ног. Но ум мой, напряженный моей заботой и сосредоточенный, подобно взгляду, который я бросал на мою мать, не давал доступа никакому постороннему впечатлению. Мысли, правда, проникали в него, но так, что оставляли где-то снаружи всякий элемент красоты или даже просто занятости, способный тронуть или развлечь меня. Как больной, благодаря анестезирующему средству, переносит в полном сознании операцию, которую производят над ним, ничего при этом не чувствуя, так и я мог декламировать любимые стихи или наблюдать усилия дедушки заговорить со Сваном о герцоге д'Одифре-Пакье, и первые не заставили бы меня испытывать никакого волнения, а вторые не вызвали бы у меня улыбки. Эти усилия были бесплодны. Едва только дедушка задал Свану вопрос относительно этого оратора, как одна из сестер бабушки, в ушах которой дедушкин вопрос звучал, как глубокое, но неуместное молчание, которое вежливость требовала прервать, обратилась к другой сестре: «Представь себе, Флора, я познакомилась с одной молодой учительницей-шведкой, которая сообщила мне необычайно интересные подробности относительно кооперативов в скандинавских государствах. Нужно будет как-нибудь пригласить ее к обеду». — «Я вполне разделяю твое мнение», ответила сестра ее Флора, «но я тоже не потеряла даром времени. Я встретила у господина Вентейля очень осведомленного старика, который хорошо знаком с Мобаном и которому Мобан самым подробным образом объяснил, к каким приемам он прибегает, создавая роль. Это ужасно интересно. Это сосед господина Вентейля; я ничего о нем не знала; он очень любезен». — «Не у одного только г-на Вентейля есть любезные соседи», воскликнула при этом заявлении сестры моя двоюродная бабушка Селина голосом, которому робость придала силу, а нарочитость сделала неестественным, бросая при этом на Свана то, что она называла «многозначительным взглядом». В это самое время бабушка Флора, понявшая, что эта фраза была благодарностью Селины за вино Асти, также посмотрела на Свана с видом, выражавшим признательность, смешанную с иронией, просто ли для того, чтобы подчеркнуть

остроумный прием своей сестры, потому ли, что она завидовала Свану за то, что тот вдохновил ее, или же наконец потому, что не могла удержаться от насмешки над ним, считая, что он подвергается неприятному для него допросу. «Мне кажется, что нам удастся пригласить этого господина к обеду», продолжала Флора: «когда наводишь его на разговор о Мобане или о г-же Матернá, он часами говорит без умолку». — «Это должно быть страшно увлекательно», вздохнул дедушка, ум которого природа, к несчастью, совершенно позабыла наделить способностью проявлять страстный интерес к шведским кооперативам или к приемам создания Мобаном своих ролей, подобно тому как она позабыла снабдить ум сестер моей бабушки крупинкою соли, без которой трудно найти вкус в рассказах об интимной жизни Моле или графа Парижского. «Вы знаете», обратился Сван к дедушке, «то, что я собираюсь сказать вам, имеет гораздо больше отношения к заданному вами вопросу, чем кажется на первый взгляд, ибо многие стороны жизни с тех пор не так уж изменились. Перечитывая сегодня утром Сен-Симона, я нашел одно место, которое покажется вам занятным. Оно находится в том, где герцог рассказывает о своем пребывании в Испании в качестве посла; этот том не из лучших, он содержит в себе просто дневник, но, во всяком случае, дневник чудесно написанный, что выгодно отличает его от скучнейших газет, которые мы считаем себя обязанными читать ежедневно утром и вечером». — «Я не согласна с вами, бывают дни, когда чтение газет доставляет мне большое удовольствие»... перебила его бабушка Флора, желая показать, что она прочла заметку о Коро Свана в Ф и г а р о. «Когда они сообщают об интересующих нас вещах или людях!» подала бабушка Селина. «Я этого не отрицаю», отвечал удивленный Сван. «Я лишь ставлю в упрек газетам то, что изо дня в день они привлекают наше внимание к вещам незначительным, тогда как мы читаем всего каких-нибудь три или четыре раза в жизни книги, в которых содержатся вещи существенные. Раз уж мы лихорадочно разрываем каждое утро бандероль газеты, то следовало бы изменить положение вещей и печатать в газете, ну, не знаю, скажем... Мы с л и Паскаля!» (Он произнес это слово тоном иронически торжественным, чтобы не произвести впечатления педанта.) «И, напротив, в том с золотым обрезом, который мы раскрываем один раз в десять лет», прибавил он, свидетельствуя то пренебрежительное отношение к светской жизни, которое напускают на себя некоторые светские люди, «нам следует читать о том, что

королева эллинов отправилась в Канн, или что принцесса Леонская дала костюмированный бал. Только при этих условиях будет соблюдено правильное соотношение». Но досадуя на себя за то, что позволил себе, хоть и вскользь, затронуть серьезные темы: «Ну и разговорец мы затеяли», сказал он иронически, «не знаю, с чего это мы забрались на эти в е р ш и н ы», и, обернувшись к бабушке: «Итак, Сен-Симон рассказывает, как Молеврье имел смелость подать руку его сыновьям. Вы знаете, тот самый Молеврье, о котором герцог говорит: «Никогда я не видел в этой неуклюжей бутылке ничего, кроме дурного настроения, грубости и глупости». — «Неуклюжие они там или нет, но мне известны бутылки, наполненные совсем другим содержанием», с живостью сказала Флора, считавшая своей обязанностью в свою очередь поблагодарить Свана, ибо вино Асти было преподнесено обеим сестрам. Селина расхохоталась. Опешивший Сван продолжал: «Не знаю, было ли это невежество или подвох, пишет Сен-Симон, но только он вздумал подать руку моим детям. Я во-время заметил и успел помешать». Дедушка уже приходил в восторг по поводу «невежества или подвоха», но м-ль Селина, у которой фамилия Сен-Симон — писатель! — предотвратила полную анестезию слуховых способностей, уже негодовала: «Как? Вы восхищаетесь этим? Хорошенькое дело, нечего сказать! Что же это, однако, может означать? Чем один человек хуже другого? Не все ли равно, герцог он или конюх, раз он обладает умом и сердцем? Прекрасная система воспитания детей была у вашего Сен-Симона, если он возбранял им пожимать руку честного человека. Но ведь это попросту гнусно. И вы решаетесь это цитировать?» Тут бабушка, чувствуя, при такой обструкции, бесплодность дальнейших попыток побудить Свана рассказать истории, которые его бы позабавили, с раздражением обращался вполголоса к маме: «Напомни-ка мне стих, которому ты меня научила, и который дает мне такое облегчение в подобные минуты. Ах, да: «Бог ненависть внушил нам к доблестям иным!» Ах, как это хорошо!»

Я не спускал глаз с мамы, зная, что мне не разрешат оставаться за столом до конца обеда и что, не желая причинять неудовольствие отцу, мама не позволит мне поцеловать ее несколько раз подряд на глазах у всех, как я делал это в своей комнате. По этой причине я решил заранее подготовиться к этому поцелую, который будет таким кратким и мимолетным, когда буду сидеть в столовой за обеденным столом и почувствую приближение часа прощанья; решил сделать из него все, что мог сделать

собственными силами: выбрать глазами местечко на щеке, которое я поцелую, и настроиться на соответственный лад с целью иметь возможность, благодаря этому мысленному началу поцелуя, посвятить всю ту минуту, которую согласится уделить мне мама, на ощущение ее щеки у моих губ, подобно художнику, который, будучи ограничен кратковременными сеансами, заранее готовится свою палитру и делает по памяти, на основании прежних эскизов, все то, для чего ему не нужно, строго говоря, присутствие модели. Но вот, еще до звонка к обеду, дедушка совершил бессознательную жестокость, сказав: «У малыша утомленный вид, ему нужно идти спать. К тому же, сегодня обед будет поздно». Отец, который не соблюдал так пунктуально, как бабушка и мама, молчаливо заключенного между нами соглашения, поддержал его: «Да, да, ступай-ка спать». Я хотел поцеловать маму, но в этот момент раздался звонок, приглашавший к обеду. «Нет, нет, оставь мать в покое, довольно будет тебе пожелать ей покойной ночи, эти нежности смешны. Ну, ступай же!» И мне пришлось уйти без напутственного поцелуя; пришлось всходить по ступенькам лестницы, как говорит народное выражение, «скрепя сердце», поднимаясь вопреки сердцу, хотевшему вернуться к маме, потому что она не дала ему своим поцелуем позволения следовать со мной. Эта проклятая лестница, по которой мне всегда было так мучительно подниматься, пахла лаком, и ее запах как бы пропитывал и закреплял особенный вид печали, испытываемой мною каждый вечер, тем самым делая ее, может быть, еще более жестокой для моей чувствительности, потому что в этой обонятельной форме разум мой был бессилен сопротивляться ей. Когда мы спим, и жестокая зубная боль воспринимается нами еще в виде молодой девушки, которую мы несколько сот раз подряд пытаемся вытащить из воды, или в виде стиха Мольера, который мы безостановочно повторяем, какое тогда великое облегчение проснуться и дать возможность нашему разуму освободить мысль о зубной боли от всякого героического или ритмического наряда! Нечто обратное этому облегчению испытывал я, когда тоска подниматься к себе в комнату проникала в меня бесконечно быстрее, почти мгновенно, коварно и внезапно, благодаря вдыханию — гораздо более ядовитому, чем проникновение рассудочного представления — запаха лака, свойственного этой лестнице. По приходе к себе в комнату мне надо было заткнуть все отверстия, закрыть ставни, собственноручно вырыть для себя могилу, откинув одеяла на своей кровати, об-

лечься в саван в виде ночной рубашки. Но прежде, чем похоронить себя в железной кровати — поставленной в моей комнате, потому что летом мне было очень жарко под репсовым пологом большой кровати — я совершил бунтарское движение, я вздумал прибегнуть к уловке приговоренного. Я написал матери, умоляя ее подняться ко мне по одному важному делу, которое не мог сообщить ей в письме. Но я очень боялся, как бы Франсуаза, кухарка моей тети, которой поручалось смотреть за мной во время моего пребывания в Комбре, не отказалась снести вниз мою записку. Я сильно подозревал, что передача моего поручения матери при гостях покажется ей столь же невозможной, как вручение театральным капельдинером письма актеру, находящемуся на сцене. По отношению к вещам, какие можно делать и каких делать нельзя, у нее был кодекс строгий, обширный, тонкий и нетерпимый, со множеством неуловимых или пустых различий (что сообщало ему характер тех древних законов, которые, наряду с жестокими предписаниями, вроде предписания убивать грудных младенцев, запрещают с преувеличенной щепетильностью варить козленка в молоке его матери или употреблять в пищу седалищный нерв животного). Кодекс этот, если судить о нем по внезапному упрямству, с каким она отказывалась исполнять некоторые наши поручения, казалось, предусматривал такую сложность общественных отношений и такие светские тонкости, которых ничто в окружавшем Франсуазу и в ее жизни деревенской служанки не могло ей внушить; приходилось предположить, что в ней было заключено весьма древнее французское прошлое, благородное и плохо понятое, как в тех промышленных городах, где старые здания свидетельствуют о существовании в них некогда придворной жизни и где рабочие химического завода окружены во время производства тончайшими скульптурами, изображающими чудо о святом Теофиле или Четырех сыновей Эмона. В настоящем случае статья ее кодекса, в силу которой было мало вероятно, чтобы, исключая разве пожара, Франсуаза пошла беспокоить маму в присутствии г-на Свана из-за такой незначительной личности как я, выражала просто почтение, питаемое ею не только к своим господам — подобно почтению к мертвым, духовенству и королям — но также и к чужому человеку, которому оказывают гостеприимство; почтение, может быть, и тронувшее бы меня, если бы я прочел о нем в книге, но всегда раздражавшее меня на ее устах благодаря серьезному и умильному тону, каким она выражала его; оно было мне особенно ненави-

стно в тот вечер, так как священный характер, придаваемый ею обеду, мог иметь своим следствием ее отказ нарушить его церемониал. Но чтобы повысить свои шансы на успех, я не колебался солгать и сказал, что я вовсе не по своему желанию написал маме, но мама, расставаясь со мной, наказала мне не забыть прислать ей ответ относительно одной вещи, которую она просила меня поискать; и она наверное очень рассердится, если ей не будет передана эта записка. Мне кажется, что Франсуаза не поверила мне, ибо, подобно первобытным людям, чувства которых обладали гораздо большей остротой, чем наши, она немедленно различала, по признакам, неуловимым для нас, всю правду, которую мы хотели от нее скрыть; в продолжение пяти минут она разглядывала конверт, как если бы исследование бумаги и вид почерка способны были пролить ей свет на природу содержимого или научить, какую статью своего кодекса она должна применить. Затем она вышла с покорным видом, который, казалось, обозначал: «Что за несчастье для родителей иметь такое дитя!» Через минуту она возвратилась сказать мне, что еще только кушают мороженое и что буфетчику невозможно в настоящий момент передать письмо на глазах у всех, но что, когда будут полоскать рот, то он найдет способ вручить его маме. Тоска моя сразу пропала; теперешнее мгновение было уже не тем, что мгновение предшествующее, когда мне приходилось расстаться с мамой до завтра, потому что моя записочка вскоре, рассердив ее без сомнения (рассердив вдвойне, ибо моя выходка сделает меня смешным в глазах Свана), позволит мне все же незримо и с восхищением проникнуть в ту же комнату, в которой находится она, и шепнет ей обо мне на ухо; потому что эта столовая, запретная и враждебная, где, еще только мгновение тому назад, само мороженое — «гранитное» — и стаканы для полосканья рта, казалось мне, таят в себе наслаждения губительные и смертельно унылые, так как мама вкушала их вдали от меня, — эта столовая открывала для меня свои двери и, подобно налившемуся плоду, разрывающему свою кожуру, собиралась брызнуть, излить в самую глубину моего истомленного сердца внимание мамы, когда она будет читать мои строки. Теперь я не был больше отделен от нее; преграды рушились, сладостная нить соединяла нас. И это было еще не все: мама без сомнения придет ко мне!

Мне казалось тогда, что если бы Сван прочел мое письмо и угадал его цель, то очень посмеялся бы над только что испытанными мною мучениями; между тем, напротив, как я узнал об

этом позже, тоска, подобная моей, была мукой долгих лет его жизни, и никто может быть не способен был бы понять меня так хорошо, как он; тоску эту, которую испытываешь, думая, что любимое существо веселится где-то, где тебя нет, куда ты не можешь пойти, — эту тоску дала ему познать любовь, любовь, для которой она как бы предназначена, которая внесет в нее определенность, придаст ей настоящее ее лицо; в тех же случаях, как это было, например, со мною, когда тоска эта проникает в нас прежде, чем совершила свое появление в нашей жизни любовь, она носится в ожидании любви, неясная и свободная, без определенного устремления, служа сегодня одному чувству, а завтра другому, то сыновней любви, то дружбе с товарищем. И радость, которую я почувствовал, совершая свой первый опыт, когда Франсуаза вернулась сказать мне, что письмо мое будет передано, — Сван тоже изведал ее, эту обманчивую радость, доставляемую нам каким-нибудь другом, каким-нибудь родственником любимой нами женщины, когда, подходя к гостинице или театру, где она находится, направляясь на какой-нибудь бал, вечеринку или премьеру, где он встретится с ней, друг этот замечает, как мы блуждаем у подъезда в тщетном ожидании какого-нибудь случая снестись с нею. Он узнаёт нас, запросто подходит к нам, спрашивает нас, что мы здесь делаем. И когда мы выдумываем, будто нам нужно сказать его родственнице или знакомой нечто крайне нужное, он уверяет нас, что нет ничего проще, приглашает нас войти в вестибюль и обещает прислать ее к нам через пять минут. Как мы любим его — как в эту минуту я любил Франсуазу, — благожелательного посредника, который, благодаря одному своему словечку, сделал вдруг для нас выносимым, человеческим и почти милым непонятный inferнальный праздник, в недрах которого, нам кажется, враждебные вихри, порочные и сладостные, увлекают далеко от нас, заставляют насмехаться над нами, ту, кого мы любим. Если судить по нему, по родственнику, подошедшему к нам и тоже являющемуся одним из посвященных в жестокие таинства, другие приглашенные на праздник не содержат в себе ничего демонического. Эти недоступные и терзающие нас часы, когда она вкушает неведомые нам наслаждения, — вдруг чрез нежданную брешь мы проникаем и них; вдруг одно из мгновений, последовательность которых составляет их, мгновение такое же реальное, как и прочие, даже, может быть, более важное для нас, потому что наша любовница в большей степени участвует в нем, мы представляем себе, мы



им обладаем, мы принимаем в нем участие, мы почти что создали его: мгновение, когда ей скажут, что мы здесь, рядом, в вестибюле. И без сомнения другие мгновения праздника не должны обладать сущностью очень отличной от сущности этого мгновения, не должны содержать в себе ничего более сладостного, что давало бы нам основание так мучиться, ибо благожелательный друг сказал нам: «Но ведь она с восторгом спустится к вам! Ей доставит гораздо больше удовольствия поговорить с вами, чем скучать там наверху». Увы! Сван по опыту знал, что добрые намерения третьего лица не властны над женщиной, раздраженной тем, что ее преследует и не дает ей покоя даже на празднике человек, которого она не любит. Часто друг спускается обратно один.

Мама не пришла и, пренебрегая моим самолюбием (весьма чувствительным к тому, чтобы басня о поисках, результат которых она будто бы просила меня сообщить ей, не была разоблачена), велела Франсуазе передать мне: «Ответа нет». Впоследствии мне часто приходилось слышать, как швейцары шикарных гостиниц или лакеи увеселительных заведений передавали эти слова какой-нибудь бедной девушке, которая изумлялась: «Как, он ничего не сказал, но ведь это невозможно! Вы же передали мое письмо. Ну хорошо, я подожду еще». И — подобно тому, как она неизменно уверяет, что ей вовсе не нужен добавочный газовый рожок, который швейцар хочет зажечь для нее, и остается ждать, слыша только, как изредка обмениваются между собой замечаниями о погоде швейцар и лакей и как швейцар, видя приближение назначенного часа, вдруг посылает лакея освежить во льду напиток одного из постояльцев, — отклонив предложение Франсуазы приготовить мне настойку или остаться подле меня, я позволил ей возвратиться в буфетную, лег в постель и закрыл глаза, стараясь не слышать голосов моих родных, пивших кофе в саду. Но через несколько секунд я почувствовал, что, послав маме мою записку и настолько приблизившись к ней — под страхом рассердить ее, — что, казалось, меня уже касается дуновение момента, когда она вновь появится передо мной, я этим отрезал себе возможность заснуть, не увидев ее, и биения моего сердца с каждой минутой становились все более мучительными, так как я только увеличивал свое возбуждение тем, что стал убеждать себя успокоиться и подчиниться своей жестокой судьбе. Вдруг тоска моя пропала, блаженство наполнило меня, как это бывает, когда начинается действие сильного лекарства, унижающего боль: я принял решение оставить все попытки заснуть,

не повидавшись с мамой, решил поцеловать ее во что бы то ни стало в тот момент, когда она будет подниматься в свою спальню, хотя бы этот поцелуй стоил мне продолжительной ссоры с нею впоследствии. Покой, наступивший по окончании моих мучений, а также мое ожидание, моя жажда опасности и страх перед нею привели меня в состояние необыкновенно радостного возбуждения. Я бесшумно открыл окно и сел на кровати, почти не двигаясь, из боязни, как бы меня не услышали внизу. На дворе предметы, казалось, тоже застыли в немом внимании, чтобы не тревожить лунного света, который, удваивая и отодвигая каждый из них протянутой перед ним тенью, более плотной и вещественной, чем сам предмет, сделал пейзаж тоньше и в то же время вытянул его, подобно развернутому чертежу, сложенному раньше в виде гармоник. То, что ощущало потребность в движении, например, листва каштана, шевелилось. Но мелкий ее трепет, охватывавший ее всю целиком и выполненный вплоть до нежнейших нюансов, с безупречным изяществом, не распространялся на окружающее, не смешивался с ним, оставался ограниченным в пространстве. На фоне этой тишины, которая ничего не поглощала в себя, самые отдаленные шумы, те вероятно, что исходили из садов, расположенных на другом конце города, воспринимались во всех своих деталях с такой законченностью, что, казалось, этим эффектом дальности они обязаны только своему *pianissimo*, подобно тем мотивам под сурдинку, так хорошо исполняемым оркестром консерватории, которые, несмотря на то, что для слушателей не пропадает ни одна их нота, кажутся однако доносящимися откуда-то издалека и при восприятии которых все старые абоненты, — а также сестры моей бабушки, когда Сван уступал им свои места, — напрягали слух, как если бы они слышали отдаленное движение марширующей колонны, еще не повернувшей на улицу Тревиз.

Я знал, что поступок, на который я решался, мог повлечь для меня, со стороны моих родителей, самые тяжелые последствия, гораздо более тяжелые, чем мог бы предположить человек посторонний, последствия, которые, с его точки зрения, могла повлечь за собою только какая-нибудь действительно позорная провинность. Но в системе моего воспитания лестница провинностей была не такова, как в системе воспитания других детей, и меня приучили помещать наверху ее (вероятно потому, что от них меня необходимо было наиболее заботливо оберегать) проступки, которые, как это в настоящее время ясно для меня, мы совершаем, уступая какому-нибудь нервному им-

пульсу. Но в те времена слово это не произносилось передо мной, этот источник не назывался, так как у меня могло бы сложиться мнение, что мне простительно поддаваться такого рода нервным побуждениям или даже, может быть, невозможно им противостоять. Я однако легко узнавал эти проступки по предварявшему их тоскливому состоянию и по суровости следовавшего за ними наказания; и я знал, что совершаемая мной провинность была того же рода, что и те, за которые я получал суровую кару, хотя бесконечно более серьезная. Если я выйду навстречу моей матери в момент, когда она будет подниматься в свою спальню, и она увидит, что я встал с постели, чтобы еще раз пожелать ей спокойной ночи в коридоре, меня не оставят больше в доме, меня завтра же отправят в коллеж, в этом я не сомневался. Ну, что ж! Если бы даже я должен был выброситься из окна пять минут спустя, это меня бы не остановило. Теперь у меня было одно лишь желание: увидеть маму, сказать ей спокойной ночи; я зашел слишком далеко по пути, ведущему к осуществлению этого желания, и не мог бы уже повернуть назад.

Я услышал шаги моих родных, ходивших провожать Свана; и когда колокольчик у калитки известил меня, что он ушел, я прокрался к окну. Мама спрашивала отца, понравилась ли ему лангуста и просил ли Сван положить ему еще раз кофейного и фисташкового мороженого. «Я нашла его неважным», сказала мать; «я думаю, что в следующий раз нужно будет попробовать другой запах». — «Удивительно, как Сван меняется», заметила двоюродная бабушка, «он уже старик!» Моя двоюродная бабушка до такой степени привыкла всегда видеть в Сване все одного и того же юношу, что была изумлена, найдя его вдруг старше того возраста, который она продолжала ему давать. Впрочем, все мои родные начинали находить в нем ненормальную, преждевременную, постыдную и заслуженную старость, наблюдающуюся только у холостяков, людей, день которых, не имеющий «завтра», кажется более длинным, чем у других, потому что для них он пуст и с самого утра мгновения прибавляются в нем одно к другому, без последующего разделения их между его детьми. «Я думаю, что у него много хлопот со своей женушкой, живущей на глазах всего Комбре с неким господином де Шарлюс. Это притча во языцех». Мать заметила, что у него однако вид не столь грустный в последнее время. «И он не так часто делает теперь жест, унаследованный им от своего отца: не протирает глаза и не проводит рукой по лбу. По-мое-

му, он в сущности не любит больше эту женщину». — «Понятно, он ее больше не любит», ответил дедушка. «Я давно уже получил от него письмо на эту тему, с которым постарался не считаться и которое не оставляет никаких сомнений насчет его чувств, — по крайней мере любви — к своей жене. Но бог с ним! Почему же вы, однако, не поблагодарили его за Асти?» прибавил дедушка, обращаясь к свояченицам. «Как, не поблагодарили? Простите, мне кажется, я сделала это достаточно тонко и деликатно», ответила бабушка Флора. «Да, ты прекрасно это устроила: я была от тебя в восторге», сказала бабушка Селина. «Но ведь и ты тоже нашлась очень ловко». — «Да, я очень довольна своей фразой о любезных соседях». «Как, вы называете это поблагодарить?» воскликнул дедушка. «Я прекрасно слышал ваши замечания, но, убейте меня, мне не пришло в голову, что они относятся к Свану. Можете быть уверены, что он ничего не понял». — «Ну, это неизвестно. Сван не дурак; я уверена, что он оценил их. Не могла же я, в самом деле, назвать ему число бутылок и цену вина!» Отец и мать остались одни и сидели некоторое время молча; затем отец сказал: «Ну, если хочешь, пойдем спать». — «Если тебе угодно, мой друг, хотя мне ни капельки спать не хочется; не может быть, однако, чтобы причиной этого было невинное кофейное мороженое; но я вижу свет в буфетной, и так как бедная Франсуаза ожидала меня, то я попрошу ее расстегнуть мне платье, пока ты будешь раздеваться». И мама открыла решетчатую дверь из передней на лестницу. Вскоре я услышал, как она поднимается закрыть в своей комнате окно. Я бесшумно проскользнул в коридор; сердце мое билось так сильно, что я с трудом подвигался вперед, но оно, по крайней мере, билось теперь не от тоски, а от страха и радости. Я увидел внизу на лестнице свет, бросаемый маминой свечей. Потом я увидел ее самое; я устремился к ней. В первое мгновение она посмотрела на меня с удивлением, не понимая, что случилось. Потом лицо ее приняло гневное выражение; она не говорила мне ни слова; и действительно, за гораздо меньшие проступки со мной не разговаривали по несколько дней. Если бы мама промолвила мне хотя бы одно только слово, то это значило бы, что со мной можно говорить, и это, может быть, показалось бы мне еще более ужасным, как знак того, что, по сравнению с серьезностью наказания, которому мне предстоит подвергнуться, молчание и даже ссора сущие пустяки. Слово было бы равносильно спокойствию, с которым отвечают слуге после того, как принято решение его рассчитать; поцелуем, ко-

торый дают сыну, отправляющемуся под знамена, и в котором ему было бы отказано, если бы речь шла о какой-нибудь двухдневной размолвке с ним. Но тут мама услышала шаги отца, поднимавшегося из туалетной, куда он ходил раздеваться, и, во избежание сцены, которую он устроил бы мне, сказала, задыхаясь от гнева: «Беги прочь скорее, беги, пусть, по крайней мере, отец не увидит, что ты здесь торчишь как сумасшедший!» Но я твердил ей: «Приходи попроситься со мной», уstraшенный видом поднимавшегося по стене отблеска свечи отца, но также пользуясь его приближением как средством пошантажировать, в надежде, что мама, испугавшись, как бы отец не застал меня здесь, если она будет упорствовать в своем отказе, согласится сказать мне: «Ступай в свою комнату, я сейчас приду». Но было слишком поздно: отец стоял перед нами. Невольно я пробормотал слова, которых впрочем никто не услышал: «Я пропал!»

Этого однако не случилось. Отец сплошь и рядом отказывал мне в вещах, на которые мне было дано согласие хартиями более общего характера, откroированными матерью и бабушкой, так как он не считался с «принципами» и пренебрегал «правами человека». По совершенно случайной причине, или даже вовсе без причины, он отменял в последний момент какую-нибудь прогулку, настолько привычную, настолько освященную обычаем, что лишение ее являлось клятвопреступлением, или же, как он сделал это сегодня вечером, задолго до ритуального часа объявлял мне: «Ступай спать, никаких объяснений!» Но именно потому, что отец мой был лишен принципов (в смысле моей бабушки), его, строго говоря, нельзя было назвать человеком нетерпимым. Он бросил на меня изумленный и сердитый взгляд, затем, когда мама взволнованным голосом объяснила ему в нескольких словах, что случилось, сказал ей: «Ну, что же, пойдй с ним; раз ты говорила, что тебе не хочется спать, останься с ним немного в его комнате, мне ничего не нужно». — «Но, друг мой», робко ответила мать, «хочу я спать или нет, это нисколько не меняет дела, нельзя приучать этого ребенка...» «Но речь идет не о том, чтобы приучать», сказал отец, пожимая плечами, «ты же видишь, что он огорчен, у него совсем несчастный вид, у этого малыша; не палачи же мы, в самом деле! Вот так славно будет, если ты окажешься причиной его болезни! Так как у него в комнате две кровати, то вели Франсуазе приготовить тебе большую кровать и проведи эту ночь с ним. Ну, покойной ночи; я не такой нервный, как вы, усну и один».

Отца нельзя было благодарить; он был бы раздражен тем, что он называл сантиментами. Я не решался сделать ни одного движения; он стоял еще перед нами, высокий, в белом ночном халате и с повязкой из фиолетового и розового индийского кашемира (он устраивал себе эту повязку с тех пор, как стал страдать невралгиями) в позе Авраама — на гравюре с фрески Беночцо Гоццоли, подаренной мне г-ном Сваном, — приказывающего Сарре оторваться от Исаака. Много воды утекло с тех пор. Лестницы и стены, на которой я увидел медленное приближение отблеска свечи, давно уже не существует. Во мне тоже многое погибло из того, что, мне казалось, будет существовать всегда, и возникло много нового, родившего новые горести и новые радости, которых я не мог бы предвидеть тогда, подобно тому как тогдашние горести и радости с трудом поддаются моему пониманию в настоящее время. Давно прошло то время, когда отец мог сказать маме: «Ступай с мальчиком». Возможность таких часов навсегда исключена для меня. Но с недавних пор я стал очень хорошо различать, если настораживаю слух, рыдания, которые я имел силу сдержать в присутствии отца и которые разразились лишь после того, как я остался наедине с мамой. В действительности они никогда не прекращались; и лишь потому, что жизнь теперь все больше и больше замолкает кругом меня, я снова их слышу, как те монастырские колокола, которые до такой степени бывают заглушены днем уличным шумом, что их совсем не замечаешь, но которые вновь начинают звучать в молчании ночи.

Мама провела эту ночь в моей комнате; после того, как мною совершен был проступок такого сорта, что я примирился уже с необходимостью покинуть семью, родители мои соглашались дать мне больше, чем я когда-нибудь добивался от них в награду за самое примерное поведение. Даже сейчас, когда отец удостоивал меня этой милости, она заключала в себе нечто произвольное и незаслуженное, как и все вообще действия отца, определявшиеся скорее случайными соображениями, чем заранее обдуманым планом. Может быть даже то, что я называл его суровостью, когда он посылал меня спать, меньше заслуживало этого названия, чем суровость моей матери или бабушки, ибо натура его, более отличная в некоторых отношениях от моей, чем натура матери и бабушки, вероятно мешала ему до сих пор почувствовать, насколько я бывал несчастен каждый вечер, — обстоятельство, отлично известное моей матери и бабушке; но они слишком любили меня, чтобы согласиться избавить меня от

страдания; они хотели научить меня властвовать над ним, чтобы уменьшить мою нервную чувствительность и укрепить мою волю. Что же касается моего отца, любовь которого ко мне носила другой характер, то я не знаю, хватило ли бы у него для этого мужества: единственный раз, когда он понял, что я чувствую себя нехорошо, он сказал матери: «Ступай, утешь его». Мама осталась на всю ночь в моей комнате и, как бы не желая испортить ни одним упреком этих часов, столь отличавшихся от того, на что я был в праве надеяться, ответила Франсуазе, когда та, поняв, что происходит нечто необыкновенное: — мама сидит подле меня, держит меня за руку и дает мне плакать, не жура меня, — спросила ее: «Барыня, что это случилось с барчуком, почему он так плачет?» — «Он сам не знает почему, Франсуаза, у него нервы расходились; приготовьте мне поскорее постель и отправляйтесь спать». Таким образом, в первый раз печаль моя рассматривалась не как достойный наказания проступок, но как непроизвольная болезнь, получающая официальное признание; как расстройство нервов, за которое я не был ответствен; я чувствовал облегчение оттого, что не должен был больше примешивать сомнений к горечи моих слез; я мог плакать безгрешно. Кроме того, я не в малой степени гордился перед Франсуазой крутым поворотом событий, который, через какой-нибудь час после того, как мама отказалась подняться в мою комнату и пренебрежительно велела мне ложиться спать, возвышал меня до достоинства взрослого, сразу сообщал моему горю своего рода зрелость, позволял мне плакать законно. Я должен был, следовательно, чувствовать себя счастливым: я не был счастлив. Мне казалось, что мама впервые сделала мне уступку, которая должна быть для нее мучительной; что это было ее первое отречение от идеала, созданного ею для меня, и что в первый раз она, столь мужественная, признавала себя побежденной. Мне казалось, что, если я только что одержал победу, то это была победа над ней, что моя победа была подобна победе болезни, забот, возраста, что она расслабляла ее волю, насиловала ее разум и что этот вечер, начинавший новую эру, останется в ее жизни как печальная дата. Если бы у меня хватило теперь смелости, я сказал бы маме: «Нет, я не хочу; не ложись здесь». Но мне была известна ее практическая мудрость, ее реализм, как сказали бы в настоящее время, умерявший в ней пылко идеалистическую натуру моей бабушки, и я знал, что теперь, когда зло совершено, она предпочтет дать мне насладиться целительным покоем и не станет тревожить отца. Несомненно, прекрасное лицо моей матери си-

яло еще молодостью в тот вечер, когда она так мягко держала меня за руки и пыталась унять мои слезы; но мне казалось, что как раз этого то и не должно было быть, что ее гнев был бы для меня менее тягостен, чем эта новая нежность, которой не знало мое детство; мне казалось, что нечестивой и воровской рукой я только что провел в душе ее первую морщину и был причиной появления у нее первого седого волоса. От этой мысли рыдания мои удвоились, и я увидел тогда, что мама, никогда не позволявшая себе расстраиваться со мной, готова вдруг заразиться моими рыданиями и делает усилие, чтобы самой не расплакался. Почувствовав, что я заметил это, она сказала мне со смехом: «Вот видишь, мое золотце, мой чижик, еще немного, и ты сделаешь твою мамочку такой же глупенькой, как ты сам. Вот что: так как ни тебе, ни твоей маме спать не хочется, то не будем расстраивать друг друга, а лучше займемся чем-нибудь, возьмем какую-нибудь книгу». Но у меня не было в моей комнате книг. «Скажи, твое удовольствие очень будет омрачено, если я уже сейчас покажу тебе книги, которые бабушка хочет подарить тебе в день твоего рождения? Подумай хорошенько: ты не будешь разочарован тем, что у тебя не будет в этот день никакого сюрприза?» Я пришел от этого предложения в восторг; тогда мама отправилась за пакетом книг; сквозь бумагу, в которую они были завернуты, я мог различить только их небольшой формат, но уже и при этом первом беглом и поверхностном осмотре бабушкин подарок затмевал коробку с красками и шелковичных червей, полученных мною в Новый год и прошлый день моего рождения. Пакет содержал следующие книги: *Чертово болото*, *Франсуа ле Шампи*, *Маленькая Фадетта*, *Волы-ночн и к и*. Как я узнал потом, бабушка выбрала для меня сначала стихи Мюссе, томик Руссо и *Индияну*; ибо, считая легкое чтение таким же нездоровым, как конфеты и пирожное, она думала в то же время, что мощное дыхание гения является даже для ума ребенка не более опасным, чем свежий воздух и морской ветер для его тела. Но когда отец мой, узнав, какие книги она собирается подарить мне, заявил, что она совсем сошла с ума, бабушка лично отправилась в Жуи-ле-Виконт к своему книгопродавцу, боясь, как бы я не остался без подарка (был очень жаркий день, и она возвратилась такая измученная, что доктор велел матери не позволять ей больше так утомляться), и заменила упомянутые выше книги четырьмя сельскими романами Жорж Санд. «Милая дочка», сказала она маме, «я не могла бы решиться подарить нашему мальчику что-нибудь дурно написанное».



## СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. КОМБРЕ. . . . .	5
Часть вторая. ЛЮБОВЬ СВАНА . . . . .	196
Часть третья. ИМЕНА МЕСТНОСТЕЙ: ИМЯ . . . . .	399